

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

На перевале



Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

На перевале

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22138121

Аннотация

«Первый иней, от которого «закасают» лиственница, служит сигналом для охоты на глухарей. Чуть тронутая холодом мягкая хвоя служит лакомством для птицы, и охотники пользуются этим, чтобы бить по зарям усевшихся на лиственницах глухарей. В Среднем Урале это дерево достигает значительной высоты и над лесом поднимается целой головой. Обыкновенно встречаются отдельные деревья, а целые насаждения – очень редко, дальше к северу. Старинное дерево, эта лиственница: высокое, ветвистое, чуть посыпанное своей бледной и мягкой хвоей. По крепости оно тверже дуба, в воде не гниет и потому служит по преимуществу типом корабельного леса. В Среднем Урале лиственницы имеют такой голый, сиротский вид и широко расстилают свои узловатые коряжистые ветви, похожие на олени рога. Южнее эти деревья отличаются стройностью и достигают громадной величины. Так, около Златоуста нашли для телеграфного столба лиственницу, из которой вырубил столб в 36 аршин длины и 12 вершков в верхнем отрубе. Там же молодые лиственные заросли придают характерный отпечаток горной южноуральской растительности...»

Содержание

I	4
II	11
III	18

Дмитрий Мамин-Сибиряк

На перевале

Из осенних мотивов

I

Первый иней, от которого «закисает» лиственница, служит сигналом для охоты на глухарей. Чуть тронутая холодом мягкая хвоя служит лакомством для птицы, и охотники пользуются этим, чтобы бить по зарям усевшихся на лиственницах глухарей. В Среднем Урале это дерево достигает значительной высоты и над лесом поднимается целой головой. Обыкновенно встречаются отдельные деревья, а целые насаждения – очень редко, дальше к северу. Старинное дерево, эта лиственница: высокое, ветвистое, чуть посыпанное своей бледной и мягкой хвоей. По крепости оно тверже дуба, в воде не гниет и потому служит по преимуществу типом корабельного леса. В Среднем Урале лиственницы имеют такой голый, сиротский вид и широко расстилают свои узловатые коряжистые ветви, похожие на олени рога. Южнее эти деревья отличаются стройностью и достигают громадной величины. Так, около Златоуста нашли для телеграфного столба лиственницу, из которой вырубил столб в 36 аршин дли-

ны и 12 вершков в верхнем отрубке. Там же молодые лиственничные заросли придают характерный отпечаток горной южно-уральской растительности.

Итак, первый иней пал, и в садах лиственницы начинают желтеть. Едем на охоту. Осенняя птица жирная, и это лучшее время в своем роде. В самом слове «охота» вы уже чувствуете что-то такое доброе и освежающее... Да, едем. У всякого охотника есть свои облюбованные уголки, куда его непременно тянет, в известное время вы его найдете на своем посту. Для сравнения могу указать на усердных прихожан, которые в церкви станут непременно на *свое* место. У меня таким любимым местом служит осенью так называемый «перевал» – это горный водораздел, глухой уголок, оставшийся в стороне от растерзанных владельческих лесных дач, на тридцать верст никакого жилья, и в самом интересном месте, на крутом берегу горного озера, стоит лесной кордон, где можно и чаю напиться и собрать необходимые сведения от Ивана Васильича, местного сторожа, который проживает здесь «по обязанностям службы».

Дорога из города идет сначала оставшимся за штатом знаменитым сибирским трактом, а потом поворотка на глухой лесоворный проселок. Вы едете покосами, через мелкие лесные островки, по длинным еланям через болота, и опять островки, покосы и леса, уже настоящий лес, который, чем дальше от города, тем выше. Город – величайший враг лесу, и близость этого врага вы чувствуете издалека: лучшие дере-

вья срублены, на земле валяется мертвый хворост, молодым деревьям не дают подрасти в настоящую меру. Но чем дальше от города, тем легче и привольнее дышится, и травка не та, и дерево поднимается выше, и воздух такой чистый, хороший. Вот в стороне мелькнул знакомый кордон «на половинке», за ним чернеет смолокурня, где «гонят» деготь и смолу, еще дальше мелькают уже одни поленицы дров, сложенные в стороне полусаженками и осминниками. Подъема в гору вы почти не замечаете, а между тем экипаж на самой вершине водораздела. Вот и последняя болотистая речонка, которая сбегает в Исеть, за ней довольно крутой увал, за ним уже западный склон Урала. Собственно, гор здесь совсем нет, и самый перевал незаметен.

В последний раз я поднимался на водораздел в такой хороший осенний день, обещавший удачную охоту. Когда экипаж очутился на вершине горы, в просветах между редким сосняком серой блестящей полосой глянуло Глухое озеро, одно из той озерной цепи, которая залегла между верховьями рек Исети и Чусовой.

– Вот мы и в Расею заехали, – проговорил кучер Гагара, оборачивая ко мне свое «шадриное» красное лицо с плутоватыми, разномастными глазами. – Вода уже на Волгу отседа пошла... расейская вода...

Придерживая бойкую пристяжку, Гагара ловко спустился в крутой ложок, подтянул коренника и с ямщицким шиком подкатил на угор, где среди пихт и елей прятался кордон.

Очень красивое место, этот кордон, и только недостает какой-нибудь пустыньки или монастырька, чтобы оживить его. С высокого бергга открывался просторный вид на все озеро, разлегшееся среди невысоких лесистых увалов. В глубине, в камышах, спрятался исток, которым озеро соединяется с рекой Чусовой. Вот и собака Юлка выбежала с громким лаем навстречу нам, а в двух избушках показались любопытные лица – в одной обитал сам Иван Васильич в качестве начальства, а другая стояла так, на всякий случай: когда лесничий заедет, когда охотники, когда так кто-нибудь завернет.

– Вот и монашины... – говорил Гагара, осаживая пару у ворот. – Они теперь ягоды собирают в лесу. У Ивана Васильича важнецкая изба для проезжающих налажена, ну, монашины недели по три здесь выживают. Юлка, не узнала гостей?..

Собака в последний раз брехнула на лошадей и ласково завиляла хвостом. В окне избы «для проживающих» мелькнуло два темных монашеских платка. Ворота скрипнули, и показался сам Иван Васильич в своих неизменных резиновых калошах, в темных больших очках и сереньком пиджаке. Это был очень степенный господин с неторопливыми движениями и той солидностью, которая зависит от характера. Он распахнул большие ворота и впустил экипаж во двор.

– Хозяину... – здоровался Гагара с развязностью городского кучера. – Опять к тебе в гости, Иван Васильич.

– Милости просим... Живем в лесу, а гостям рады. Вы уж

ко мне пожалуйте в избу, а там в другой избе у меня брусничный монастырь. Может, на свежем воздухе чайку пожелаете выпить?

– Да, я думаю, что так будет лучше.

– Конечно, для вас это гораздо любопытнее. Ушку можно заварить...

У Ивана Васильича все делалось как-то само собой – и самовар вовремя будет готов, и ушка успеет. Свой же парень съездит посмотреть в исток поставленную вчера морду и привезет свежих окуньков, – а хозяйка оборудует самовар.

– А как глухари? – спрашиваю я, разминая ноги после тряской трехчасовой дороги.

– Глухари-с? Они свое дело в лучшем виде знают... Вчера двух спугнул по дороге к Кочкам. Тут есть ложок, а над ним этак осинничек пойдет, листьяночки – аккуратное место. Как раз только чайку напьетесь – тут и самое ваше занятие... Юлка орудует в лучшем виде.

– На дерево бросается?

– Сначала кидалась, а потом я ее отвадил... Тоже понимает, стерва. Сядет под дерево и брешет, а он, глухарь, на нее сверху: ту-ту-ту!.. Ну, и разговаривают. Даже смешно в другой раз слушать. А вы в самый момент приехали – теперь глухарь на чиху...

Мы сидели на берегу под густой старой пихтой и долго беседовали о разных разностях. Холодное осеннее солнце быстро склонилось к зубчатой линии леса. По озеру разгули-

вала осенняя волна, сосавшая берег и с шипением уходившая в качавшуюся полосу жесткого ситника. Странное это время, осень! И погода ясная, и солнце светит, а вас так и сосет какая-то грустная, сиротская нотка! Есть своя поэзия осени, задумчивая прелесть звездных холодных ночей и целая гамма тонов умирающей зелени. Весело горит огонек на открытом воздухе, и дым уже не стелется по земле, как в туманную летнюю ночь, а вьется столбом прямо в небо. Гагара устроил цыганскую распорку и варит в котелке уху. Юлка сидит невдалеке и ждет своей доли в общей трапезе.

– Ты луковку-то не торопись спускать, – советует Иван Васильич тоном специалиста. – Размокнет, как тряпица, какой в ней толк, а надо в плепорцию.

– Нет, ничего... Главное, спокойно. Летом я, как Осман-паша¹ в неприступной Плевне, сижу: кругом болота, а дорога одна в Кочки. Лесоворам нечего делать, ну и отдыхаешь. Верст на сорок мой-то участок растянулся, и не углядел бы, если бы не болото.

Военные сравнения у Ивана Васильича провертываются часто: он сделал последнюю русско-турецкую кампанию и фельдфебелем какой-то стрелковой роты переходил Балканы. После того служил на железной дороге, но по слабости зрения должен был бросить эту «обязанность», потом служил урядником, – помилуйте, ни днем, ни ночью нет покоя, а

¹ *Осман-паша* – турецкий генерал и военный министр, известен по обороне города Плевны во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

народ какой здесь – того смотри, что голову оторвут, а у Ивана Васильича семья. Пензенский уроженец, он попал на Урал по той же причине, как и многие другие: дома нечего делать, а здешние места захвалили. Оно действительно, места обширные, и жить можно, да народ, сказать правду, варнак. Сердце Ивана Васильича возмущалось убойными сибирскими нравами.

II

Мы идем по лесу. Под ногами хрустят сучки. Трава совсем сухая. Иван Васильич шагает в своих резиновых калошах и несет длинного «туляка» (ружье) на плече, точно по команде «ружья вольно!» Юлка суетливо шныряет между деревьями, и я по лицу Ивана Васильича вижу, что он доволен собакой, которая «забирает верхним чутьем» и нейдет глухариными подъездами и кормежками. Вот и ложок и покрасневший от мороза осинник с своей яркой, точно ситцевой листвой – даже есть те линючие тона, какие производит московская мануфактура.

– Конечно, жалованье маловато, на пятнадцать рублей не много расширишься... – говорит Иван Васильич и останавливается, как вкопанный: Юлка брехнула на птицу, и глухарь забормотал на нее.

Это момент самый интересный на охоте: так и встрепнешься весь. Солнце уже село, но в лесу еще светло, и деревья отчетливо вырезаются своими контурами на отбелевшем осеннем небе. Мы расходимся. Иван Васильич предоставляет мне добычу, и я уже заметил высокую лиственницу, где бормочет глухарь. Небольшой перелесок отделяет меня от этого дерева, но подойти ближе нельзя: чуткая птица, пожалуй, не пустит, а проклятые сучки так и хрустят под ногами. Останавливаюсь и перевожу дыхание. Слышно, как бьет

ся сердце. Еще несколько шагов – и добыча будет в роковом круге «поля поражения». Немного больше ста шагов, но винтовка Лебоды² возьмет и дальше. Сквозь поредевшую листву просматриваю в последний раз глухаря – он сидит на длинном сучке и разговаривает с собакой. Вот пауза, нужно стоять смирно и стрелять, когда глухарь опять забормочет. В это время он не слышит выстрелов, и можно из малокалиберной винтовки «отвесить» по нем раз десять. Вот опять бормотание, выстрел, и облачко дыма мешает разглядеть результаты. Нет, глухарь сидит на старом месте и только сильнее вытянул шею по сучку, – значит, пуля пронесла верхом. Второй выстрел заставил его подскочить – пуля обнизила. Обыкновенно в таких случаях глухарь улетает, но этот непуганый и после небольшой паузы начинает опять разговаривать. Третий выстрел, и птица снялась с дерева широкими взмахами своих крыльев, сплывила под пролеском и исчезла. Слышно, как Юлка заливается, но это уже не торжествующий, осмысленный лай, а просто собачий азарт: она потеряла птицу. Ужасно досадно, и я в утешение себе рассматриваю свою винтовку: что с ней такое случилось?

– По сучку шлепнулась пулька-то... – за спиной у меня говорит неслышно подошедший Иван Васильич. – Теперь самый обманчивый свет: своя прицелка... Я вот к своему туляку вполне привесился и шагов на пятьдесят так шарахну, что даже сам удивляешься в другой раз.

² *Винтовка Лебеды* – охотничье ружье системы чешского оружейника Лебеды.

Мы пошли дальше. Юлка затихла. Свет быстро исчез, точно его тушит какая-то невидимая рука. Делается холодно. На нашу беду подвернулся зайчонок, и Юлка бросилась за ним с особым завыванием, которое знакомо всем охотникам.

– Ах, проклятая!.. – ругался Иван Васильич, бросаясь в погоню за неверным псом. – Вот каждый раз так... Поймает и съест, подлая!.. Юлка-а! Я тебя, шельма-а!..

Тени сгущаются. Большие деревья трудно просмотреть, но на мое счастье опять попадается глухарь. Без собаки к нему трудно подойти, – приходится пользоваться только его бормотанием, когда едва успеешь сделать несколько шагов. Пожалуй, еще в ширф попадешь куда-нибудь... Подхожу на приличную дистанцию, начинаю выцеливать – плохо видно. Стреляю наугад, и глухарь благополучно улетает. Где-то близко грянул «туляк» Ивана Васильича. «Этот не промахнется», – думаю я, огорченный собственной неудачей. Действительно, появляется Иван Васильич и волокет за крыло убитую птицу.

– Агротатный мешок... – говорит он, останавливаясь. – Бегу за Юлкой, а он на меня сверху как забормочет... ей-богу!.. Вот такая повадка... Ну, я его и положил: так комом и свернулся, как мешок. Ведь сверху, когда летит, точно медведь... Юлки не видали?.. Вот, я вам скажу, бывает же такая несообразная тварина...

Мы возвращаемся. Охота кончена. В темноте дорога кажется длиннее. Но вон и знакомая пихта – мы дома. Огонь

догорает. В «брусничном монастыре» теплится слабый огонек, и какая-то темная фигура стоит перед иконой в переднем углу.

– С полем! – кричит Гагара, наметавшийся с охотниками.

Юлка уж дома. Заметив нас, она поджала хвост и виновато ползет по траве к пылающему гневом хозяину, который прописывает ей встрепку и читает наставления. Юлка визжит больше для приличия и облизывается – она хорошо закусила.

Выплывший месяц осветил заснувшее озеро. Мы опять пристроились под своей пихтой и, греясь около огонька, гурорим о разных разностях. Хорошо вот так посидеть в лесу и поболтать с бывалым человеком. Иван Васильич покуривает трубочку и сплевывает на огонь. Гагара потрошит убитого глухаря, чтобы сделать из него похлебку. Ему помогает хозяйка, пожилая женщина в накинутой на плечи шубейке.

– Я вот часто так-то выйду на бережок, – повествует Иван Васильич, не торопясь, – и раздумаюсь... Ведь какое здесь место: настоящая грань. Одной ногой в Расее, другой – в Сибири. Да... Самое глухое место. Вон туда, к Чусовой, и дороги больше никакой нет: доехал до Кочек и ступай назад... Вон какое место...

– А зимой волки у вас бывают здесь?

– Нет, мало... С озера разве какой шальной забредет, а вот лесоворы тогда хуже всяких волков. Зимой-то везде дорога... Как начнут подчаливать в город бревна, тут держись

только, а отвечать должен за всю дачу все я же. Она, милая, вон какая, дача-то: больше пятидесяти квадратных верст. Лесничий проехал, увидел свежую порубь... Настоящее военное положение, а одному-то не разорваться. Под Плевной лучше было: там все-таки не один.

Утром надо было вставать часа в три, чтобы взять птицу «на брезгу», то есть когда только начнет свет заниматься, а поэтому мы и залегли спать пораньше. В избе у Ивана Васильича было очень чисто, и старой ситцевой занавеской она делилась на две половины: в одной спал он с женой, а в другой расположился я. На полатях давно уже спал мальчик лет двенадцати. Городская привычка ложиться поздно сказалась и здесь – я долго ворочался с боку на бок, прежде чем мог заснуть. Даже это был и не сон, а какое-то полузабытье. Помню, как я опять «скрадывал» глухаря и как взлаивала Юлка, а потом сквозь сон в ухо лез какой-то бабий шепот:

– Разбуди, Аннушка, Ивана-то Васильича... ради истинного Христа!

– Да, может, поблазнило, сестрица?

– Нет, голубушка... Сначала этак мелькнуло будто на полянке, и Юлка брехнула, а сестра Агнеса и видит в окошко: он к стеклу-то и припал... Мы так и ужаснулись все, а сестра Платонида и говорит: «Это, может, – говорит, – ихний, городской кучер...» А Юлка, нет-нет, и взлает, ну, а потом *он* опять к нашему окошку присунулся. Мы все видим, а никто слова молвить не может.

– Ихний-то кучер в повозке спит...

– Этот с бородой, а кучер безбородый. Ну, сестра Агнеса и послала к вам. Непременно, говорит, добудись...

Открываю глаза. Изба чуть освещена лунным светом, хозяйка в приотворенную дверь шепчется с невидимой монашиной, как я начинаю догадываться.

– Что такое случилось? – спрашиваю я.

– Да так... пустяки... – отвечает хозяйка. – Вот монашкам поблазило, будто какой человек к ним в окошко смотрел... А кому здесь смотреть-то? Мы и ворота сроду не записывали.

– Побуди Ивана-то Васильича-то... – просит голос.

– И то разбудить.

Хозяйка голыми ногами проходит за свою занавеску и начинает расталкивать домовладыку.

– А?.. Что?.. Мм... – мычит впросонье Иван Васильевич. – Отстань, пожалста... умереть не дадут... Брусники наелись монашины, вот и увидали человека. Отстань.

В этот момент послышался топот нескольких пар босых ног, и в сенях раздалось более смелое шушуканье:

– Матушка моя, сидит... Своем глазом поглядите: у огонька сидит!.. Ох, до смертушки мы все перепугались...

– Да, может, кучер ихний сидит?

– Ох, нет... С бородой мужчина...

Это был уже весь «брусничный монастырь», столпившийся в наших сенях, как стадо овец. Иван Васильич в одной

рубaxe выглянул в окошко и проговорил:

– И то кто-то сидит, леший его задери...

Во дворе, заслышав суматоху, Юлка выбивалась из сил и с приступом бросалась в ворота. Иван Васильич, не торопясь, оделся. Я последовал его примеру.

– Разбудите Гагару... – шепотом приказывал он жене... – Мы *его* изловим, каналью... Вот еще притча какая...

– Да, может, он не один? – боязливо шептала хозяйка. – Как ножом полыхнет – вот и вся тут...

– Ну, ну, полыхнет... Не твоего ума дело!.. Иван Васильич опять выглянул в окошко: нет, сидит он у самого пепелища... Уж не оборотень ли какой?

III

Мы устроили настоящую засаду: я занял ответственный пост у ворот, Гагара должен был обойти со стороны дороги и отрезать отступление, Иван Васильич перелез через забор прямо в лес и оттуда должен был открыть атаку на неприятеля. Юлка неистовствовала у ворот, монахини заперлись в избе на крючок, а *он* продолжал сидеть у едва тлевшего огонька и преспокойнейшим образом подбрасывал в него щепочек. В приотворенную калитку я видел широкую согнутую спину и голову без шапки. Раздался сигнальный свист, и мы открыли наступление. Первой бросилась на приступ Юлка.

– Эй, кто есть, жив человек, сдавайся!.. – кричал Иван Васильич, показываясь из лесу с ружьем в руках.

Молчание. Одна Юлка с визгом наступает на сгорбленную фигуру у огня и раза два, кажется, успела хватить зубом.

– Да ты умер, что ли? – слышится недоумевающий голос Ивана Васильича. – Сдавайся!

Мы с трех сторон подходим к огню, и Иван Васильич схватывает незнакомца полицейским приемом – за плечи сзади...

– Кто таков человек?

– Живой человек... – отвечает наконец незнакомец слабым, охрипшим голосом.

– Откуда взялся?

– Из лесу...

– Как зовут?..

– Косач... птица... бруснику ел, лиственень ел, мох ел – и вышел косач.

– Видим, что птица... – спокойно говорит Иван Васильич. – Бродяга?..

– Около того... Говорят тебе: косач.

– Зачем ночью подходишь, дьявол? А как я бы да тебя хлебыснул пулей...

– И стреляй... Сбился с дороги... отошал... три дня хвою да грибы ел... Вот огня не было, ноги не держат...

– От артели отстал?

– От артели... боялся днем-то подойти...

Пленный был приведен в избу. При огне он оказался тщедушным мужиком с горбатой спиной и зеленым, испитым лицом. Один глаз вытек, а на его месте оставалось одно закрытое веко. Весь костюм состоял из одной заношенной рубахи, пестрядинных портов и какого-то отрепья на плечах. Войдя в избу, он перекрестился и проговорил:

– Дайте поись... смертушка пришла...

– Ну и зверя залобовали! – качал головой Иван Васильич, делая знак жене.

Появилась краюшка хлеба и чашка с квасом. Бродяга дрожащими руками ухватился за хлеб и принялся его есть с жадностью. Я протянул было руку к своим дорожным запасам, но Иван Васильич остановил меня:

– Не нужно... Очень уж сердяга отошал, не стерпит настоящей еды. Отвык от хлеба-то...

Столпившиеся у дверей монахини смотрели на несчастного бродягу со смешанным чувством страха и сожаления. Слышались вздохи.

– Дальний будешь, миленький? – осмелилась наконец спросить одна из сестер.

– Дальние, голубушка... из-под Иркутскова... – быстро ответил бродяга и посмотрел таким голодным взглядом на всех нас. – Отошал... из сил выбился.

– Господи, батюшка!.. – слышался благочестивый шепот.

– Ну, куда я теперь с тобой, косач? – спрашивал Иван Васильич, расхаживая по комнате. – Ну, куда?.. Шел бы своей дорогой... Вот не угодно ли! – обратился Иван Васильич уже ко мне. – Я же его и представляй в город... Это значит – тридцать верст вперед да тридцать верст назад. Нет, спасибо, голубчик... Это уж третий так-то ко мне навязывается: отобьется от артели, и вези его в город. У них, у бродяг, тракт по реке Исети, а потом через горы перевалом на реку Чусовую идут – старинный тракт. Верстах в двадцати от кордона ихняя бродяжья тропа. В лето-то, может, тысячи три человек пройдет: все в Расею, значит, обращаются... Ох-хо-хо!.. Когда урядником был, так до смерти, бывало, надоедят эти бродяги, особенно по осени, когда холодом их в горах достигнет. Артелями приходили: предоставь по начальству. Это они зимовать в острог просятся... И вот все такие орлы!

Ну, что с ним поделаешь, с косачом?..

– Заплутался... – точно про себя говорил бродяга. – Отощал... все думал – выйду на дорогу, а самого уж вторые сутки мутит... с голоду мутит...

– Чем же ты кормился? – спрашивает сестра побойчее.

– Саранку копал да ел... медвежью дудку, бруснику... огня не было, вот главная причина... Иззяб весь, ноги избил, отощал...

– Вот что, сестрицы, идите-ка с богом спать, – предложил Иван Васильич, позевывая. – Утро вечера мудренее.

Монашки придвинулись к двери и зашептались.

– Боятся оне... – объяснила хозяйка. – Может, *он* не один: отворит ночью ворота товарищам, всех и укукошат. Тоже бывали случаи...

– Пустяки!.. Идите, сестрицы, а для острастки Юлку возьмите...

Напуганные монахини едва решились уйти в свою избу, хозяйка улеглась за свою занавеску, а Иван Васильич продолжал ходить по избе и думал вслух:

– Ежели отпустить его, – пристанодержателем назовут... В город везти – одна маята. Ну и задал же задачу... А?.. Ты вот что, косач, как мы уснем, ты и уходи потихоньку, а я скажу, что бежал... Не укараулили – и вся недолга.

– Нет уж, будь милостив, предоставь в острог...

– Ах, какой человек навязался! Охота мне тащиться тридцать верст да там по разным мытарствам ходить... Право,

ночью и уходи своей дорогой.

– Не могу... обезножил... силы нет...

Бродяга был настолько жалок, что на него невозможно было даже рассердиться.

– Вы меня свяжите, а сами ложитесь спать... – предложил он нейтральную меру.

– Чего тебя вязать... Ах, ты, притча какая!.. Тебе бы только вон там по-за горой левее взять – тут сейчас и тропа выйдет. Все равно, перезимуешь в остроге и опять убежишь...

– Убегу...

– Ну, так по этой же дороге придется идти, притча этакая?..

– Нет, уж предоставь по начальству.

Я долго всматривался в несчастного бродягу. На вид ему можно было дать лет пятьдесят. Русые волосы, сбившиеся в кошму, и песочного цвета борода не были еще тронуты сединой. Но это лицо мне навсегда запало в память: худое, изможденное, с обтянувшимися около зубов губами, обострившимся носом и лихорадочно горевшим единственным глазом. Бродяга – это неизбежная принадлежность нашего уральского быта. Их каждый видал на тракту: идет обоз или экипаж катится, к ним из стороны выходит один или двое, снимают шапки и кланяются. Редкий не подаст куска хлеба или копеечки. Видал я бродяг в лесу, по волостным правлениям, на этапных пунктах, в камерах судебных следователей, на скамье подсудимых, но «косач» положительно выдавался

своей отчаянной беспомощностью, голодным видом и упорным желанием попасть непременно в острог. Тысячи таких вот косачей бродят по лесу, перебираясь через Урал на родину, – даже страшно делается при одной мысли об этом волчьем существовании. Выбитые из колеи, они, эти бродяги, отрекаются от своего имени, последнего достояния, которое несет человек с собой даже в могилу... Косач – и все тут... Звери и птица живут без имени, и бродяги тоже. Это полная гражданская смерть, а между тем таких не помнящих родства бродяг тысячи. Нет, жизнь положительно – страшная вещь.

* * *

Утром рано мы возвращались в город. За моим экипажем на телеге ехал Иван Васильич, а рядом с ним сидел косач. Он проспал в избе, не связанный, и выглядел при дневном свете еще несчастнее. Иван Васильич имел сосредоточенный, почти сердитый вид.

– Привезешь его в город, а там своим бродягам не рады, – ворчал он, усаживаясь в телегу. – Еще обругают, зачем привез...

Утро выдалось пасмурное. Начиная капать мелкий дождь. В одном месте нам дорогу перебежал заяц – это уже окончательно взволновало Ивана Васильича, и он сердито начал отплеиваться.